

Плач по Адаму, изгнанному из рая: круги христианских размышлений Фазиля Искандера

В начале 2000-х Фазиль Искандер неожиданно позвал меня на книжную ярмарку на ВДНХ, где должно было происходить представление одного из его собраний сочинений.

Он очень дружил с моей мамой, писательницей Инной Варламовой, в 1970-е годы в нашей квартире много раз устраивал публичные чтения своей прозы и просто забегал к ней многожды раз на неделю по разным поводам — ведь мы были соседями. Именно в те годы я написал о его творчестве статью, она даже вышла в каком-то коллективном сборнике о современной прозе.

Уверен, что эти публичные (квартирные) чтения нужны были Искандеру для того, чтобы устроить экзамен своему письменному тексту: понять, насколько точны его интонации, насколько визуализация образа, к которой он очень тяготел, соответствует словесному описанию. Эта перекрёстная проверка своих текстов — на ухо и на глаз — таит в себе секрет точности его слова. Измени ракурс — и узнаешь, будет ли твоё слово точным или приблизительным, фальшивым.

Многие помнят определение чувства юмора, данное Искандером: «Чтобы овладеть хорошим юмором, надо дойти до крайнего

пессимизма, заглянуть в мрачную бездну, убедиться в том, что там ничего нет, и потихоньку возвращаться обратно. След, оставленный этим обратным путём, и будет настоящим юмором».

Так вот, поисками «следа», который оставляет писательское слово, он и занимался всю свою жизнь, в итоге обогатив русскую прозу уникальной интонацией и самобытным языком, которые невозможно сымитировать и спутать с каким-то другим писателем.

Когда была создана моя семья, выяснилось, что мою жену Олеся Фазиль Абдулович знал чуть ли не с младенчества. Когда-то он писал предисловие к её поэтической подборке в журнале и вообще толкал её, поэта, писать ещё и прозу — он услышал её устные истории, над которыми очень смеялся, и признал в ней замечательную рассказчицу (надеюсь, Олеся напишет об этом подробнее).

Но тут, уже в 2000-е, я, священник, должен был кратко представлять перед непрофессиональной публикой его многотомное издание. Я был смущён не только оказанной мне честью, но тем, что моё слово о любимом писателе должно было быть, хочешь не хочешь, «священническим» словом.

Сказал я примерно следующее. Передаю в сокращённом виде.

Вся классическая культура (живопись, музыка, литература) — это про то, как изгнанный из Рая Адам ищет свой путь назад в Райские обители. Писатель Искандер — это трудолюбивый и искуснейший ученик этой традиции. Он точно знает, что в созданной Богом реальности есть ответ утерянной Божественной гармонии. И он находит её отблески здесь, в этом мире. Его персонажи — дети и старики, абхазские крестьяне и городские молодые люди — это те, кто населяет эту преображённую Вселенную. Искандер точно знает, что, изучая всеобъемлющий мир, не обязательно совершать кругосветное

путешествие — достаточно посмотреть вокруг себя, и ты найдёшь здесь всё: и адские глубины, и райскую высоту.

В доказательство моей мысли процитирую важные слова Фазиля Искандера:

«Вся серьёзная русская и европейская литература — это бесконечный комментарий к Евангелию. И комментарий этому никогда не будет конца. Все псевдоноваторские попытки обойтись без этического напряжения, без понимания, где верх, где низ, где добро, где зло, обречены на провал и забвение, ибо дело художника вытягивать волей к добру из хаоса жизни ясный смысл, а не добавлять к хаосу жизни хаос своей собственной души».

Мировоззрение Искандера очень тесно связано с его религиозными взглядами. Ими пронизана вся его проза и его философские трактаты. Уверен, что это станет важной темой исследователей его творчества.

Прислушаемся к великому писателю и мудрому христианину.

*

«Если жизнь представляется невозможной, есть более мужественное решение, чем уход из жизни. Человек должен сказать себе: если жизнь действительно невозможна, то она остановится сама. А если она не останавливается, значит, надо перетерпеть боль.

Так суждено. Каждый, перетерпевший большую боль, знает, с какой изумительной свежестью после этого ему раскрывается жизнь. Это дар самой жизни за верность ей, а может быть, даже одобрительный кивок Бога».

*

«Верующий человек, как бы он ни был одарён, гораздо менее, чем неверующий, склонен самоутверждаться среди других людей. Его честолюбие направлено всегда по вертикали и всегда ограничено

любящим признанием невозможности сравняться с Учителем. Он вечно тянется вверх, заранее зная, что нельзя дотянуться. И самым настроением своей натуры он не может стремиться к коренным, внезапным изменениям в жизни человеческого рода, поскольку не может и не хочет заменять собой Учителя.

Наоборот, неверующий и честолюбивый человек, не имея этого высокого ориентира над собой, чаще сравнивает себя с живущими рядом людьми и, замечая своё превосходство, постоянно укрепляется в нём».

*

«Зло может со стороны внезапно войти в человека, и он, не успев опомниться, совершает злодейство. Тогда в чём же он виноват? Он виноват в том, что ему была дана вся жизнь, чтобы не оставлять в душе свободного места для зла. Но он осторожно придерживал свободное место, не давая добру заполнить его, и это место в конце концов заняло зло. Не давал добру расширяться, и в этом был его сознательный грех».

*

«Говорят о бесконечных возможностях искусственного разума. Но ни один учёный не может даже заикнуться об искусственной совести. Из этого следует, что любой искусственный разум в главном ограничен».

*

«Душа, совершившая предательство, всякую неожиданность воспринимает как начало возмездия».

*

«Право сделавшего добро забыть о сделанном добре. Обязанность согретого добром помнить об этом. Мир рушится там, где эта связь разомкнулась, где сделавший добро назойливо памятлив, а согретый добром впадает в беспамятство.

Мир, в котором ты видел хотя бы одного человека, всю жизнь благодарно помнившего о сделанном добре, даже тогда, когда сделавший добро начисто забыл о нём, да и сам сгинул, отдав своё лёгкое тело вечной мерзлоте, этот мир ещё не окончательно протух, и он в самом деле стоит нашей отваги жить и быть человеком».

В. В. Вигилянский

ГОСПОДИ, МЫ У КОСТРА

1

В великие писатели Искандер вышел деликатно, незаметно для других и для себя. Что скрывать, литература народов СССР в массе своей была этнографична, писателей бесстыдно преувеличивали ради новых доказательств торжества ленинской национальной политики, и хотя это все равно было куда лучше нынешнего отката в Средневековье — забота России о национальных культурах принимала подчас гротескные формы. Были великие Василь Быков, Владимир Короткевич, Чингиз Айтматов, Нодар Думбадзе, Кайсын Кулиев — но была и априорная, не вполне беспочвенная подозрительность со стороны читателя: текст, написанный республиканским уроженцем на республиканском же материале, имел серьезные шансы оказаться плохим. И даже когда Искандер, начинавший как поэт, перешел на прозу и опубликовал первоклассные вещи — сначала сатирическое «Созвездие Козлотура», потом уже вполне серьезного «Морского скорпиона», — даже когда в самиздате появились неопубликованные главы «Сандро», а первый, вдобавок ополовиненный цензурой вариант его вышел в 1973 году в «Новом мире», его готовы были рассматривать как исключительно одаренного автора, но не в одном же ряду с Солженицыным или Трифоновым! Масштаб его первым понял Юрий Домбровский, писатель не только величайшего таланта, но и столь редко соединяющегося с ним критического чутья: он по-

ставил на Искандера, многим сказав, что это главная надежда русской прозы. Вероятно, залогом этой высокой оценки была столь ценная Домбровским — и столь присущая ему самому — полифония, скрепление интонаций, переплетение тем: в монохромной советской литературе Искандер настаивал на неприменном присутствии трагического в любом фарсе, на комической ноте в самом драматичном сюжете. Эта дополнительная подсветка — плюс неприменное сочетание сатиры и лирики, заметное уже в его ранних балладах, — сразу выделила Искандера из блестящего ряда сверстников.

В шестидесятники он не попал — не столько по возрасту (год рождения подходящий, 1929), сколько по особому устройству мировоззрения. Ни к шестидесятнической эйфории, ни к шестидесятническому же отчаянию после 1968 года он не был склонен, потому что самое устройство его психики иное: Искандер основатель, он сангвиник, а не холерик, и впадать в беспричинный восторг для него так же противоестественно, как отчаиваться. Он кое-что повидал, за плечами у него огромный опыт народа, который видал еще и не такое, — как всякий человек традиции, он чувствует опору более надежную, чем политическая конъюнктура или личное везение. Народ — особенно малый, с богатым и трудным опытом выживания, особенно кавказский, с традицией сдержанности и этикета, — относится к современности спокойней, без иллюзий; внешние обстоятельства мало трогают тех, кто за всю вечность не слишком изменился и мерками этой вечности меряет все. И потому время Искандера наступило по-настоящему не в шестидесятые, а в семидесятые, когда были востребованы совсем иные качества, которых, собственно, он и пожелал читателю в финале лучшего, кажется, своего рассказа (он вошел потом в повесть «Стоянка человека») — «Сердце»: «Терпения и мужества, друзья». Впрочем, ведь и Трифонов, и Аксенов, и Казаков (разумею немногочисленные, но прекрасные поздние

12 рассказы) лучшее свое написали в тех же семидесятих, когда многое виделось лучше, трезвей, точней.

Д.
ВЫКОВ

Подлинный же масштаб Искандера стал ясен во второй половине восьмидесятых, и связано это было не столько с полной публикацией трехтомного «Сандро», сколько с возвращением России в мировой контекст. В силу разных обстоятельств она из него выпала почти на сто лет: дело было не в железном занавесе — сквозь него многое пробивалось, — но в специфике советской жизни, вызывающе непохожей на прочую. У советских были свои проблемы, мало понятные за границей, — нам же казались надуманными роковые вопросы, терзавшие европейцев, американцев, латиноамериканцев... Только в восьмидесятих вдруг оказалось, что и России — тогда еще СССР — предстоит столкнуться с главным вопросом XX века, а именно с противостоянием модерна и архаики, с возможностью (или невозможностью) сосуществования архаических и христианских культур, с вечным антагонизмом Востока и Запада. У нас все это либо принимало специфические формы, либо отсутствовало вовсе — поскольку СССР поставил вне закона национализм и упразднил религию, оставив ей чисто представительские функции. В восьмидесятые на нас лавиной обрушились проблемы, над которыми Запад бился в последнее столетие, — и главной из этих проблем оказалась пресловутая несовместимость христианства и варварства, а также неистребимое противостояние Востока и Запада. Оказалось, что «с места они не сойдут» даже в эпоху глобализации; что до конца истории еще куда как далеко; что после развала и краха СССР Запад лицом к лицу оказался с варварством куда менее цивилизованным и более опасным — и 11 сентября 2001 года доказало это окончательно. Впору было закручиниться по империи зла, противной, нет слов, но предсказуемой и вдобавок дряхлой.

Архаика, в общем, хорошая вещь — в том смысле, что для архаического характера священно понятие чести, незыблема внутри-

клановая (родственная, земляческая) солидарность, сказанное слово весит не меньше, чем сделанное дело... О неизбежности поголовного увлечения архаикой в поисках новой серьезности говорил незадолго до смерти Илья Кормильцев — и оказался прав: разочаровавшись в западной цивилизации, которую лишь весьма условно можно сегодня назвать христианской, интеллектуалы еще в конце шестидесятых обратились к Востоку в поисках ответов. Отсюда почти поголовное полевание западной профессуры, сочувствующей палестинцам больше, чем израильтянам; отсюда любопытство к Африке, мода на латиноамериканскую прозу, на дзен, на Индию и Китай, на возврат к природе, прочь от растленной цивилизации... Все это было очень мило — и, может быть, неизбежно; но нельзя не увидеть в этом отката назад. Парадокс заключается в том, что Маркес, который на пике этой моды и сделался нобелевским лауреатом (1982), как раз доказывает обреченность той самой архаики, пагубность изоляции, замкнутости, циклического развития — об этом не только «Сто лет одиночества» с их великой и пророческой последней фразой, но и «Осень патриарха» с той же ненавистью к бесконечному, вязкому времени. С Маркесом, кстати, вышло интересно: они оба с Искандером родились 6 марта, с разницей в год. Однажды Искандеру прислали рецензию на переведенную в Штатах книгу повестей. Чтобы прочесть ее лично, он титаническим усилием вспомнил изученный когда-то английский — «Но результат того стоил», усмехался он в интервью. В рецензии было написано: «Всюду слышим: Гарсиа Маркес, Гарсиа Маркес... Между тем Фазиль Искандер не хуже, а в лучших своих сочинениях значительно превосходит его».

Так оказалось, что всю свою жизнь Искандер пишет, в общем, на главную тему последнего столетия человеческой истории; главное противостояние — не между капитализмом и коммунизмом, которые обречены конвергировать и во всяком случае догово-

способны, а между двумя типами цивилизаций. Искандер первым в XX веке вдумчиво и глубоко описал кавказский характер и попытался нащупать его перспективы. Он показал и его силу, и его слабость, и тенденцию к вырождению, и шансы избежать этого вырождения. Главное же — он нащупал возможность компромисса, некоей общей для почвенников и западников святости. Это — идея дома, одинаково важная и для Востока, и для Запада. Дому как оплоту морали, совести, чести посвящена последняя крупная проза Искандера, «Софичка». Вероятно, в современной русской литературе мало найдется текстов, над которыми плачешь, — но финал, в котором Нури в кухне Большого дома смотрит на кривотрубные пароходы, нарисованные им в детстве на стене, без слез читать не сможет и самый сдержанный читатель. Помнится, я спросил однажды Искандера: ведь это выдумать нельзя, скажите, вам рассказал кто-то? «Нет, корабли выдумал».

Это в «Софичке», самой поздней и, вероятно, лучшей своей повести, написанной с той простотой и стремительностью рассказа, какие встречались разве у позднего Толстого да в Библии, — Искандер спел гимн огню, очагу, идее дома:

«Вполне вероятно, что идея дома впервые возникла в голове человека у костра. Сначала крыша, чтобы защитить костер от непогоды, а потом по той же причине и стены, а потом человек назвал домом место, где его костер защищен со всех сторон, и сам он защищен в том месте, где защищен костер. Идея дома — костер. Хозяин идеи — костер. Путем не слишком долгих манипуляций в историческом плане цивилизация незаметно изгнала из дома костер. Хозяина дома изгнала из дома, выдав дому некоторое количество удобных заменителей костра.

Что же сейчас собирает семью и близких семье людей вместо домашнего очага? Алкоголь или телевизор. Иногда, как бы чувствуя собственную недостаточность, они действуют вместе. Люди пьют

и одновременно посматривают телевизор. Или смотрят телевизор и одновременно попивают. Кайф? Диалог в семье заменился монологом телевизора. У очага мы жили сами, а теперь вынуждены жить отраженной в стекляшке чужой жизнью, в которой ничего изменить нельзя.

И потому так радуется нас, как начало нашего выздоровления, живой огонь костра, выжигающий из наших душ мусор суэтных и тщеславных забот. И да здравствует костер с печеной картошкой, с ухой или шашлыком! Да и без всякой еды радуется нас вечно молодое, веселое пламя, мы тянем к его струям руки и, может быть, сами того не осознавая, молимся:

— Господи, вот мы снова у костра, с которого все начиналось. Мы забыли все неудачи и все несправедливости нашей жизни! И ты забудь! Мы забыли позор нашей истории и наш собственный позор! И ты забудь! Дай, Господи, грешному человеку еще одну попытку! Господи, дай! Мы только начинаем жить! Мы у костра!>

Не знаю, было ли в русской прозе что лучше за последние двадцать лет. Разве что рассказ того же Искандера «Гусеницы», тоже поздний, о том, как перед самой войной 1994 года в Абхазии появилось страшно много гусениц, словно природа с ума сошла, — а скоро и люди начали сходить с ума, и молодой герой рассказа погиб, исчез бесследно.

Дом — синтез долга и милосердия, доброты и закона, компромисс для самых непримиримых. И эту идею дома, объединяющего всех, — одинаково святыню для кавказцев и русских — Искандер внес в русскую литературу, яростно отстаивая то самое право на дом, которое советская власть подвергла наиболее радикальному сомнению. Дом был объявлен предрассудком, рассадником мещанского быта, население распахали по общежитиям, гоняли по командировкам, по целинным землям, поэтизировали дух скитальчества, охоту к перемене мест — в то время как человек жив идеей дома, кото-